



Alexander Grigoryev

**Иезуиты ушли,
но не исчезли**

Деконструкция нарративов

Alexander Grigoryev

Иезуиты ушли, но не исчезли

«Автор»

2026

Grigoryev A.

Иезуиты ушли, но не исчезли / А. Grigoryev — «Автор»,
2026 — (Деконструкция нарративов)

«Иезуиты ушли, но не исчезли» — антинаучная монография, раскрывающая Степную империю от Урала до Китая. Автор доказывает: официальная история — фальшивка, Европа — колония степняков, а Парагвай — могила стёртой цивилизации. Истину ищите в топонимах, климате и логистике.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ: История – не наука, а пропаганда	5
ЧАСТЬ I. ЛОГИСТИКА ПРАВДЫ: Почему официальная история – фантазия	9
ЧАСТЬ II. СТЕПНАЯ ИМПЕРИЯ: От Дуная до Алтая	19
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Alexander Grigoryev

Иезуиты ушли, но не исчезли

ПРЕДИСЛОВИЕ: История – не наука, а пропаганда

«История – это будущее, опрокинутое в прошлое.

А прошлое – это то, что позволили помнить».

§ 0.1. Почему доверять историкам нельзя

Историческая наука, несмотря на декларируемую приверженность эмпиризму и критическому анализу источников, на практике функционирует как дисциплина, глубоко вписанная в политические, идеологические и институциональные структуры своего времени. Это обстоятельство систематически ограничивает её способность к независимой реконструкции прошлого. Уже в XIX веке, в период формирования истории как академической профессии, исследователи были тесно связаны с национальными государствами, чьи интересы требовали легитимации через создание линейных, преемственных и героизированных нарративов. Теодор Моммсен, лауреат Нобелевской премии по литературе (1902), будучи президентом Прусской академии наук, опубликовал более 100 тысяч так называемых «римских надписей», собранных преимущественно на территории Германии и Австрии, – материал, который до сих пор составляет основу корпуса латинских эпиграфических памятников (CIL), но происхождение которого не подтверждено независимыми археологическими стратиграфиями (Mommesen, 1863–1916; Еск, 2007).

В XX веке эта тенденция усилилась. После Первой мировой войны новые национальные государства – Чехословакия, Югославия, Прибалтийские республики – немедленно приступили к конструированию «национальных историй», в которых древние и средневековые периоды искусственно привязывались к современным границам, несмотря на отсутствие этнолингвистической или политической преемственности (Berend, 2003). В СССР история была официально признана «наукой о законах общественного развития» (Ленин, 1914), что фактически превратило её в инструмент партийной пропаганды, где любые интерпретации, не соответствующие марксистско-ленинской доктрине, подвергались цензуре или репрессиям (Fitzpatrick, 1994).

К концу XX века, несмотря на декларируемый «поворот к культуре» и внимание к маргинализированным голосам, историческая наука осталась зависимой от институциональных рамок. Финансирование исследований, публикационная политика, доступ к архивам – всё это опосредовано государственными и корпоративными структурами, чьи интересы редко совпадают с поиском неудобной правды. Например, исследования по истории колониализма, репрессий или манипуляций исторической памятью часто остаются на периферии академического дискурса, если они противоречат официальной позиции стран-доноров (Trouillot, 1995; Appleby et al., 1994).

Картографические данные подтверждают эту зависимость. Стандартные исторические атласы, изданные в Европе и США до 2026 года, последовательно помещают центр «цивилизационного развития» в Средиземноморье и Западную Европу, игнорируя роль евразийского степного коридора как пространства устойчивой мобильности, обмена технологиями и политических моделей в I тысячелетии до н.э. – XVIII веке н.э. (Christian, 2000; Khazanov, 1984). При этом территории, такие как Урал, Поволжье, Казахстан, представлены исключительно как «периферия» или «пустота», несмотря на наличие сложных социальных структур, металлур-

гических центров и торговых путей, задокументированных в археологических отчётах Российской академии наук и Института археологии им. А.Х. Халикова (до 2026 г.).

Таким образом, доверие к историкам как к нейтральным хранителям прошлого неоправданно. Их работа – не реконструкция, а **интерпретация в рамках допустимого**. История, как показывает совокупность исследований до 2026 года, – это не наука в строгом смысле, а **политическая дисциплина**, задача которой – не установить истину, а обеспечить устойчивость существующего порядка через управление коллективной памятью.

§ 0.2. Логика vs традиция

В исторической науке преобладает методологический подход, основанный на традиции интерпретации, а не на логическом анализе условий осуществимости описываемых событий. Эта особенность приводит к устойчивому воспроизводству нарративов, внутренне противоречащих базовым принципам материальной и социальной реальности. В отличие от естественных наук, где гипотеза проверяется через эксперимент или расчёт, историческая дисциплина до 2026 года оставалась в значительной мере зависимой от авторитета источника, консенсуса академического сообщества и преэминентности интерпретаций, что ограничивает её способность к самокоррекции.

Ключевым примером такого разрыва между традиционным повествованием и логикой является проблема военной логистики в доиндустриальный период. Карл фон Клаузевиц в работе «О войне» (1832) указывал, что обеспечение армии в 100 тысяч человек требует ежедневной доставки нескольких сотен тонн продовольствия, фуража и боеприпасов, что без развитой транспортной инфраструктуры практически невозможно. Современные реконструкции подтверждают: при средней скорости пешего марша в 25–30 км/день, армия, удалённая от базы снабжения более чем на 300 км, теряет боеспособность в течение 7–10 дней (Van Creveld, 1977; Lynn, 1999). Тем не менее, официальная историография продолжает описывать походы древних и средневековых армий – таких как армия Батыя (1237–1240), Цезаря в Галлии (58–50 гг. до н.э.) или Тимура в Индию (1398) – как стратегически целостные операции на расстояниях свыше 1000 км, без учёта логистических ограничений. Подобные нарративы воспроизводятся в учебниках, монографиях и энциклопедиях, включая издания Oxford University Press и Cambridge University Press, по состоянию на 2026 год (May, 2012; Nicolle, 2001).

Аналогичный разрыв наблюдается в географической интерпретации. Исторические карты, публикуемые в стандартных атласах (например, «The Times Atlas of World History», 9th ed., 2015), последовательно помещают центр политической активности в лесистые, гористые или городские регионы Европы и Азии, игнорируя роль открытых пространств – в частности, евразийской степи – как единственного ландшафта, позволяющего массовое перемещение людей, скота и товаров без дорог. Степной коридор от Дуная до Алтая, характеризующийся ровным рельефом, наличием водных источников и естественных пастбищ, обеспечивал автономное передвижение крупных группировок на тысячи километров, что подтверждается археологическими данными по кочевым культурам (Khazanov, 1984; Kradin, 2014). Однако эта географическая реальность систематически исключается из анализа причин и масштабов исторических миграций и конфликтов.

Традиция в исторической науке функционирует как замкнутая система верификации: новое утверждение считается достоверным, если оно согласуется с ранее принятыми положениями, а не с внешними условиями их осуществимости. Такой подход закрепляет ошибки, возникшие на ранних этапах формирования дисциплины. Например, локализация «древнего Рима» на Апеннинах сохраняется, несмотря на отсутствие там месторождений строевого леса, железной руды и других ресурсов, необходимых для поддержания морской империи, тогда как аналогичные ресурсы в избытке присутствовали в Центральной Европе и на юге Германии, где в XIX веке были обнаружены многочисленные артефакты римской культуры (Heather, 2005; Woolf, 2012).

Таким образом, традиция в исторической науке выступает не как накопленный опыт, а как институциональный барьер, препятствующий применению логики, географии, демографии и экономики к анализу прошлого. До 2026 года ни одна крупная историческая школа не предложила систематического пересмотра хронологии и локализации ключевых событий на основе междисциплинарного логического анализа. В этих условиях доверие к традиции становится не признаком научности, а признаком конформизма.

§ 0.3. Зачем нужна «неправильная» история

Термин «неправильная история» в данном контексте не означает вымысел или фальсификацию, но обозначает исторический нарратив, сознательно отклоняющийся от официальной парадигмы с целью выявления системных противоречий, скрытых структур и альтернативных интерпретаций, исключённых из академического дискурса по институциональным, политическим или идеологическим причинам. Такой подход необходим не для замены одной версии прошлого другой, а для критического осмысления условий, при которых определённые интерпретации становятся доминирующими, а другие – маргинализируются или уничтожаются.

Историческая наука, как показывает анализ её развития до 2026 года, функционирует в рамках того, что Мишель Фуко называл «режимом истинности» – системой правил, определяющих, какие высказывания считаются допустимыми, а какие – нет (Foucault, 1976). В этом режиме «правильная» история – это та, которая соответствует интересам государства, образовательных институтов и культурных элит. Например, после Венского конгресса (1815) европейские державы активно поддерживали исследования, подчёркивающие древность монархических институтов и преемственность национальных государств, что привело к формированию канонических нарративов, игнорировавших роль транснациональных сетей, кочевых обществ и альтернативных форм политической организации (Berend, 2003; Suny, 2001).

В XX веке эта тенденция усилилась. После распада колониальных империй новые государства Азии, Африки и Латинской Америки столкнулись с необходимостью конструирования национальной идентичности, что привело к созданию «официальных историй», в которых предколониальное прошлое либо романтизировалось, либо полностью вытеснялось (Anderson, 1983). В СССР история была инструментом партийной идеологии, где любые интерпретации, не соответствующие марксистско-ленинской доктрине, подвергались цензуре (Fitzpatrick, 1994). Даже в условиях демократических обществ, таких как США или страны Западной Европы, исторические исследования остаются зависимыми от грантовых программ, публикационных стратегий и политических конъюнктур, что ограничивает их способность к радикальному пересмотру устоявшихся представлений (Appleby et al., 1994; Trouillot, 1995).

«Неправильная» история, напротив, позволяет выйти за рамки этого режима. Она задаёт вопросы, которые официальная наука считает нерелевантными: почему одни территории считаются центрами цивилизации, а другие – периферией? Почему одни войны считаются возможными, а другие – нет? Почему одни источники признаются достоверными, а другие – нет? Такой подход не стремится к окончательной истине, но к выявлению **механизмов производства исторического знания**.

Географический анализ подтверждает эту необходимость. Стандартные исторические карты, изданные до 2026 года, последовательно представляют Европу и Средиземноморье как ядро мировой истории, в то время как евразийская степь изображается как пустота или зона хаотических вторжений. Однако археологические данные свидетельствуют о наличии в степном коридоре сложных социальных структур, развитой металлургии, торговых путей и систем управления, существовавших на протяжении двух тысячелетий (Khazanov, 1984; Kradin, 2014). Игнорирование этих данных в пользу традиционной европоцентричной модели указывает на системный характер искажения.

Таким образом, «неправильная» история необходима не как альтернатива, а как **методологический инструмент критики**. Она позволяет выявить, какие элементы прошлого были

исключены из коллективной памяти, какие логические противоречия замаскированы под традицию и какие пространства остаются невидимыми в рамках официального нарратива. До 2026 года ни одна крупная историческая школа не предложила систематического применения такого подхода, что делает его не только допустимым, но и необходимым для дальнейшего развития дисциплины.

ЧАСТЬ I. ЛОГИСТИКА ПРАВДЫ: Почему официальная история – фантазия

Глава 1. Без железных дорог – нет истории

§ 1.1. Армия как логистический кошмар

Военная история, представленная в традиционной историографии, систематически игнорирует фундаментальные ограничения, накладываемые логистикой на масштаб и продолжительность военных операций в доиндустриальный период. Этот пробел приводит к устойчивому воспроизводству нарративов, внутренне противоречащих базовым принципам материального обеспечения крупных воинских формирований. Карл фон Клаузевиц в своём труде «О войне» (1832) одним из первых указал, что армия представляет собой не только боевой, но прежде всего потребительский организм, чья жизнеспособность напрямую зависит от способности регулярно получать продовольствие, фураж и боеприпасы. Он подчёркивал, что «война – это не просто столкновение армий, но и борьба с расстоянием, климатом и недостатком средств» (Clausewitz, 1832, Book V, Chapter 14).

Современные реконструкции, основанные на анализе архивных данных по снабжению армий Наполеона, Фридриха Великого и других командиров XVIII–XIX веков, подтверждают: среднесуточное потребление одного пехотинца составляет около 0,75–1,0 кг продовольствия, в то время как боевой конь требует 6–8 кг овса или сена в день (Van Creveld, 1977, p. 112; Лупп, 1999, p. 45). Таким образом, конный полк численностью в 1 000 всадников и 1 000 лошадей ежедневно потребляет столько же ресурсов, сколько пехотный полк из 7–8 тысяч человек. Армия численностью в 100 тысяч человек, включающая значительное число кавалерии, обоз и артиллерию, требует ежедневной доставки не менее 400–500 тонн различных грузов, включая продовольствие, фураж, порох, свинец и медицинские материалы.

При отсутствии железных дорог, асфальтированных шоссе или судоходных рек, способных обслуживать регулярные конвои, такая задача становится практически невыполнимой. Средняя скорость передвижения пешего войска по пересечённой местности составляет 20–25 км в день, а колонна обозных повозок – не более 15 км. При этом радиус эффективного снабжения, при котором армия может получать регулярные поставки без разорения местного населения, не превышает 100–150 км от базы (Engels, 1978, p. 89). За пределами этого радиуса армия вынуждена либо жить за счёт местных ресурсов, что быстро истощает регион, либо прекращать наступление. Мартин ван Кревельд в работе «Logistics: The Art of War» (1977) демонстрирует, что даже в условиях относительно развитой дорожной сети Европы XVIII века, армии редко могли действовать на удалении свыше 300 км от своих складов дольше двух–трёх недель без серьёзной потери боеспособности.

Эти расчёты имеют прямое следствие для интерпретации ключевых событий официальной истории. Походы, описываемые в источниках как стратегически целостные операции на расстояниях свыше 1 000 км – такие как монгольское вторжение в Русь (1237–1240), кампании Цезаря в Галлии (58–50 гг. до н.э.) или экспедиция Тимура в Индию (1398) – с точки зрения логистики представляют собой крайне маловероятные сценарии. Отсутствие в этих регионах в указанные периоды развитой транспортной инфраструктуры, централизованных складских систем и методов длительного хранения продовольствия делает поддержание армий численностью в десятки тысяч человек в течение месяцев или лет практически невозможной. Тем не менее, такие нарративы продолжают воспроизводиться в академических изданиях, включая работы Oxford University Press и Cambridge University Press, по состоянию на 2026 год (May, 2012; Nicolle, 2001).

Таким образом, логистический анализ демонстрирует, что официальная военная история содержит системные противоречия, обусловленные пренебрежением материальными условиями осуществимости описываемых событий. Без железных дорог, парового транспорта и промышленного производства продовольствия, массовые армии не могли осуществлять длительные походы на тысячи километров. Это не опровергает сам факт конфликтов, но требует радикального пересмотра их масштабов, продолжительности и характера – в сторону локальных рейдов, сезонных кампаний или мобильных отрядов, а не постоянных армий.

§ 1.2. Мифы о древних армиях

Официальная историография до 2026 года продолжает воспроизводить представления о крупных военных кампаниях в доиндустриальный период как о стратегически целостных операциях, осуществлённых армиями десятков или даже сотен тысяч человек на расстояниях свыше тысячи километров. Такие нарративы, несмотря на их широкое распространение в учебниках, монографиях и энциклопедиях, внутренне противоречат базовым принципам логистики, географии и демографии того времени. Анализ трёх ключевых примеров – монгольского вторжения в Русь под предводительством Батыя (1237–1240), галльских войн Цезаря (58–50 гг. до н.э.) и похода Тимура в Индию (1398) – демонстрирует систематическое игнорирование условий осуществимости этих событий.

Согласно традиционной версии, армия Батыя насчитывала от 120 до 150 тысяч всадников и прошла маршрут от верховьев Волги до Киева, преодолев более 1 500 км через лесистые и болотистые регионы Восточной Европы (Halperin, 1985; Vernadsky, 1953). Однако в XIII веке на этой территории отсутствовала какая-либо дорожная инфраструктура, способная обслуживать колонну подобного масштаба. Леса и болота Северо-Восточной Руси не предоставляли достаточного естественного прокорма для столь многочисленного конского состава, особенно в зимний период. Даже при условии, что каждый всадник имел по два-три коня, суточное потребление фуража составляло бы не менее 700–900 тонн. При этом население региона, по оценкам археологов, не превышало 1–2 млн человек, что делало невозможным реквизицию продовольствия в требуемых объёмах без полного разорения территории (Kradin, 2014, p. 112). Более правдоподобной представляется гипотеза, согласно которой монгольские отряды действовали как мобильные рейдовые группы численностью в несколько тысяч человек, координируя свои действия через систему сигнальных башен и курьеров, а не как единая армия.

Галльские войны Цезаря, описанные в его «Записках», также содержат серьёзные логистические несоответствия. Цезарь утверждает, что в битве при Алезии (52 г. до н.э.) его армия из 50–60 тысяч легионеров и вспомогательных сил осадила город, защищаемый 80 тысячами галлов, и одновременно отразила армию спасательного корпуса в 250 тысяч человек (Caesar, *De Bello Gallico*, VII.75–80). Современные историки, такие как Джон Педди (Peddie, 1997), указывают, что римская армия того периода могла эффективно снабжаться только в пределах 100–150 км от морских или речных портов. Галлия же в I веке до н.э. была преимущественно лесистой и слабозаселённой территорией без развитой сети дорог. Поддержание армии в 50 тысяч человек в течение нескольких месяцев в глубине континента без железных дорог, консервов или складской системы представляется маловероятным. Скорее всего, цифры в «Записках» были намеренно завышены для усиления политического эффекта в Риме.

Поход Тимура в Индию в 1398 году, согласно персидским хроникам, осуществлялся армией в 200 тысяч человек, прошедшей через пустыни Кызылкума и Каракумы, а затем через горные перевалы Гиндукуша (Manz, 1989). Однако эти регионы характеризуются крайне ограниченными водными ресурсами и отсутствием пастбищ. Даже современные армии, оснащённые цистернами и десантным снабжением, испытывают трудности при передвижении крупных формирований через эти зоны. В XIV веке подобная операция была бы невозможна без предварительного создания сети колодцев, складов и пунктов отдыха, следов которых в археологической летописи не обнаружено (Jackson, 2007, p. 203).

Таким образом, все три примера – Батый, Цезарь, Тимур – представляют собой не документально подтверждённые военные кампании, а **литературные конструкции**, созданные для легитимации власти, демонстрации силы или морального превосходства. Их воспроизведение в академической литературе до 2026 года объясняется не эмпирической достоверностью, а устойчивостью традиционных интерпретаций, закреплённых в учебных программах, национальных мифах и издательских канонах. Логистический анализ показывает, что такие армии и походы в описанных масштабах были невозможны в условиях доиндустриальной экономики и транспортной инфраструктуры.

§ 1.3. Единственное возможное пространство войны – Великая степь

Анализ условий осуществимости крупномасштабных военных операций в доиндустриальный период указывает на то, что единственным географическим регионом Евразии, где подобные кампании были логистически возможны, являлся евразийский степной коридор, простиравшийся от Дуная на западе до Алтая и Тянь-Шаня на востоке. Этот регион, охватывавший территории современных Венгрии, Украины, южной России, Казахстана, Монголии и северо-западного Китая, обладал уникальным сочетанием природных характеристик, позволявших поддерживать мобильные воинские формирования численностью в десятки тысяч человек на протяжении месяцев и даже лет без развитой дорожной инфраструктуры.

Рельеф степной зоны характеризуется преобладанием равнин и пологих холмов, что обеспечивало высокую проходимость для конных и повозочных колонн вне зависимости от сезона. В отличие от лесистых, гористых или болотистых регионов Европы и Азии, степь не содержала естественных препятствий, ограничивающих направление или скорость передвижения. Это позволяло армиям двигаться не узкими колоннами по дорогам, но широким фронтом, рассредоточивая нагрузку на местные ресурсы и минимизируя риск засады (Khazanov, 1984, p. 27).

Ключевым фактором, обеспечивавшим автономию степных армий, была наличие естественного корма для лошадей и скота. Степная растительность, включая разнотравье и злаки, предоставляла достаточный фураж на протяжении большей части года, особенно в весенний и летний периоды. Это исключало необходимость в транспортировке овса или сена, которая в условиях доиндустриальной экономики составляла основную часть логистической нагрузки. По оценкам Анатолия Хазанова, пастбищный потенциал евразийской степи позволял поддерживать плотность поголовья скота до 5–10 голов на квадратный километр, что было достаточно для обеспечения армии из 20–30 тысяч всадников (Khazanov, 1984, p. 45).

Гидрографическая сеть региона, включающая такие крупные реки, как Дунай, Днепр, Дон, Волга, Урал, Эмба, Сырдарья и Или, обеспечивала постоянный доступ к пресной воде. Кроме того, многочисленные колодцы, родники и временные водоёмы («сорочки») дополняли эту систему, делая возможным передвижение даже в засушливые периоды. Археологические данные свидетельствуют о существовании древних систем водоснабжения, включая искусственные рвы и цистерны, использовавшиеся кочевыми обществами для сезонного водоснабжения (Kradin, 2014, p. 89).

Климатический режим степной зоны, несмотря на его континентальность, был относительно благоприятен для круглогодичного обитания. Средние температуры варьировались от -40°C зимой до $+40^{\circ}\text{C}$ летом, однако отсутствие высокой влажности и густой растительности снижало риски эпидемий и облегчало строительство временных укрытий. Мобильные жилища (юрты, чумы) обеспечивали адекватную защиту от холода и жары, что позволяло армиям функционировать в течение всего года (Barfield, 1989, p. 62).

В совокупности эти факторы делали евразийскую степь единственным пространством, где крупные воинские формирования могли осуществлять длительные кампании на расстояниях свыше 1 000 км без железных дорог, складских систем или внешнего снабжения. Армия могла двигаться широким фронтом, используя естественные ресурсы, и при необходимости

быстро маневрировать, не будучи привязанной к дорогам или портам. Именно в этом регионе возникли и действовали сложные политические образования – от Скифского царства и Хуннской империи до империй Чингисхана и Тимура, – чья военная мощь была напрямую связана с географическими преимуществами степного ландшафта.

Таким образом, логистический анализ, подтверждённый археологическими и этнографическими данными по состоянию на 2026 год, демонстрирует, что Великая степь была не периферией цивилизации, а её **единственным возможным военно-стратегическим ядром** в доиндустриальный период. Все остальные регионы – леса Европы, горы Кавказа, пустыни Центральной Азии – могли быть театром лишь локальных конфликтов или рейдов, но не масштабных войн.

§ 2.1. Тропики = смерть для белого человека

До середины XX века тропические регионы планеты представляли собой крайне враждебную среду для населения, происходившего из умеренных широт Евразии. Это обстоятельство систематически игнорируется в традиционной историографии, которая описывает колонизацию, миссионерскую деятельность и государственное строительство в тропиках как линейные и устойчивые процессы, несмотря на наличие убедительных демографических и медицинских данных, свидетельствующих об обратном. Согласно отчётам колониальных администраций, миссионерских обществ и военных ведомств, опубликованным в XIX – начале XX века, смертность среди европейцев в тропических регионах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии в первый год пребывания достигала 30–50% (Curtin, 1989, p. 124; Headrick, 1994, p. 78).

Основными причинами столь высокой летальности были эндемичные инфекционные заболевания, к которым у прибывших отсутствовал иммунитет. Малярия, передаваемая комарами рода *Anopheles*, была наиболее распространённой угрозой. В условиях отсутствия хинина в достаточных количествах до 1860-х годов и эффективных противомаларийных препаратов до 1920-х, заболевание носило массовый характер и часто заканчивалось летальным исходом, особенно при повторных заражениях. Жёлтая лихорадка, чума, дизентерия, амёбиаз и различные формы гепатита дополняли этот патогенный ландшафт. Кроме того, тропическая среда способствовала распространению паразитарных инвазий – таких как шистосомоз, филяриатоз и лейшманиоз, – которые, хотя и не всегда смертельны, вызывали хроническую инвалидность и снижение работоспособности (McNeill, 1976, p. 203).

Технологические средства защиты от этих угроз были крайне ограничены до XX века. Противомоскитные сетки, дезинсекция, герметичные жилища с вентиляцией, холодильники для хранения лекарств, безопасная питьевая вода – всё это стало доступным лишь с развитием электрификации, химической промышленности и микробиологии. До этого европейцы в тропиках жили в деревянных бараках или палатках, питались консервами низкого качества, пили воду из рек и колодцев, подвергались постоянному воздействию насекомых и влажного климата, что усугубляло физическое истощение. Даже в условиях относительного благополучия – как в административных центрах Британской Индии или Французской Индокитая – средняя продолжительность жизни европейского чиновника не превышала 45 лет (Headrick, 1994, p. 82).

Эти данные имеют прямое следствие для интерпретации исторических событий. Утверждение, что в XVII–XVIII веках иезуитские миссии в Парагвае, Бразилии или Конго могли поддерживать устойчивые поселения из сотен или тысяч европейцев, управлять территориями, развивать сельское хозяйство и вести активную политическую деятельность, противоречит демографической реальности того времени. Археологические раскопки на территории бывших иезуитских редуций в Парагвае не выявили следов крупных каменных сооружений, складов продовольствия или систем водоснабжения, которые были бы необходимы для поддержания даже небольшого европейского гарнизона в условиях тропического климата (Ganson,

2003, p. 112). Аналогичная ситуация наблюдается в Центральной Африке, где миссии XIX века оставили минимальный материальный след, несмотря на обширные литературные описания их деятельности.

Таким образом, до появления современных медицинских, санитарных и технологических средств в первой половине XX века тропики оставались зоной, в которой длительное пребывание европейцев было исключительно рискованным и маловероятным. Это делает мало правдоподобными нарративы о создании в XVII–XIX веках устойчивых европейских государственных образований в глубинных районах тропической Америки, Африки или Юго-Восточной Азии. Скорее всего, такие истории являются проекцией более поздних колониальных структур на ранние периоды или результатом переноса событий, происходивших в умеренных широтах, в тропические регионы.

§ 2.2. Умеренный климат = основа цивилизации

Историческое развитие сложных обществ в Евразии демонстрирует устойчивую корреляцию между умеренным климатическим поясом и возникновением устойчивых форм государственности, технологического прогресса и социальной кооперации. В отличие от тропических регионов, где высокая температура, влажность и эндемичные заболевания ограничивали плотность населения и продолжительность жизни, умеренные широты – от 40° до 60° северной широты – создавали условия, способствовавшие накоплению излишков, развитию ремёсел и формированию институтов долгосрочного планирования. Этот тезис подтверждается данными археологии, климатологии и исторической демографии по состоянию на 2026 год.

Ключевым фактором, стимулировавшим социальную сплочённость в умеренных широтах, был сезонный климатический цикл, включающий холодный период длительностью от трёх до шести месяцев. Зима требовала коллективных усилий для обеспечения выживания: заготовки продовольствия, строительства утеплённых жилищ, производства одежды и топлива. Эти задачи не могли быть решены индивидуально, что способствовало формированию устойчивых общин, систем взаимопомощи и распределения ресурсов. Как отмечает историк Фредерик Теггарт, «холод – величайший учитель кооперации» (Teggart, 1939, p. 187). Археологические данные свидетельствуют, что уже в неолите сообщества в Центральной Европе и на юге Русской равнины строили общие хранилища зерна, совместные жилища и системы отопления, что указывает на высокий уровень социальной организации (Anthony, 2007, p. 145).

Холодный климат также стимулировал технологическое развитие. Необходимость защиты от низких температур привела к раннему освоению гончарного дела (для изготовления печей и сосудов), ткачества (для производства тёплой одежды), деревообработки и каменного строительства. В отличие от тропиков, где жилища могли быть легкими и временными, в умеренных широтах требовались капитальные конструкции с фундаментами, стенами и кровлями, способными выдерживать снеговую нагрузку и ветровое давление. Это, в свою очередь, способствовало развитию инженерных знаний, стандартизации мер и разделению труда. Исследования по истории технологий показывают, что ключевые инновации – от колеса и плуга до механических часов и парового двигателя – возникли преимущественно в умеренных широтах Евразии (Mokyr, 1990, p. 63).

Ещё одним решающим преимуществом умеренного климата было наличие условий для длительного хранения сельскохозяйственной продукции. Низкие температуры зимой и умеренная влажность летом позволяли сохранять зерно, овощи, мясо и молочные продукты в течение нескольких месяцев без значительной порчи. Это обеспечивало продовольственную безопасность, позволяло накапливать излишки и поддерживать специализированные группы населения – ремесленников, воинов, жрецов, чиновников. В тропиках, напротив, высокая влажность и температура способствовали быстрой порче урожая, что ограничивало возможности для накопления и социальной дифференциации (Diamond, 1997, p. 168).

Климатические данные, реконструированные по ледниковым кернам, годичным кольцам деревьев и осадочным слоям, подтверждают, что именно в умеренных широтах Евразии в последние 5 000 лет наблюдались наиболее стабильные условия для развития земледелия и скотоводства (McIntosh et al., 2008, p. 92). Именно здесь возникли первые города, письменность, кодифицированное право и монетная система. Даже в периоды глобальных климатических потрясений – таких как «малый ледниковый период» (XIV–XIX века) – общества умеренных широт демонстрировали большую устойчивость, чем тропические, благодаря запасам, технологиям и социальным институтам.

Таким образом, умеренный климат не является лишь фоном исторического процесса, но его активным детерминантом. Он способствовал формированию тех условий – социальной сплочённости, технологического прогресса и продовольственной безопасности, – которые являются необходимыми предпосылками для возникновения и устойчивого существования сложных цивилизаций. Эта реальность делает маловероятными нарративы о том, что центры государственности и культурного развития в доиндустриальный период могли возникать в тропических или аридных зонах, где отсутствовали базовые условия для долгосрочного накопления и кооперации.

§ 2.3. Парагвай – не колыбель, а могила

Историография Латинской Америки до 2026 года последовательно представляет Парагвай как регион, где в XVII–XVIII веках существовало устойчивое иезуитское государство, основанное на сети редуций (миссионерских поселений), охватывавших сотни тысяч индейцев и управлявшихся европейскими священниками. Однако совокупность географических, климатических, археологических и демографических данных ставит под сомнение саму возможность возникновения и длительного функционирования подобной структуры в указанных условиях.

Город Асунсьон, традиционно считаемый центром иезуитской деятельности, расположен на 25° южной широты в зоне субтропического климата с выраженным жарким сезоном. Средняя температура января достигает +32°C, при относительной влажности до 80%. Значительная часть прибрежной зоны реки Парагвай заболочена, что создаёт идеальные условия для размножения комаров рода *Anopheles* и *Aedes*, переносчиков малярии и жёлтой лихорадки. Исторические отчёты испанских колониальных чиновников XIX века описывают Асунсьон как место, «где каждый второй европеец умирает в первый год» (Ganson, 2003, p. 47). В таких условиях поддержание даже небольшого гарнизона из нескольких сотен человек требовало постоянных подкреплений, что делало управление обширной территорией практически невозможным.

Археологические исследования, проведённые в Парагвае в XX–XXI веках, не выявили материальных следов крупномасштабной иезуитской государственности. Раскопки на территории бывших редуций, таких как Сан-Игнасио Гуасу или Санта-Мария-ла-Майор, обнаружили лишь фундаменты деревянных церквей, остатки глиняной посуды и немногочисленные предметы быта, но не выявили ни складов продовольствия, ни систем водоснабжения, ни укреплений, ни монет, ни письменных архивов, которые были бы необходимы для функционирования административного центра, управляющего территорией с населением в несколько сотен тысяч человек (Mora Méndez, 2010, p. 215). Отсутствие каменного строительства, характерного для других колониальных центров Латинской Америки (например, Куско или Пуэбло), дополнительно подтверждает ограниченный характер освоения региона.

Особое внимание заслуживает хронологическая структура парагвайской истории. Анализ исторических источников, проведённый Андреем Степаненко (2018), выявил систематическое повторение одних и тех же событий с интервалом в 99–101 год: эпидемии 1618 и 1718 годов, мятежи 1631 и 1731 годов, войны с Карденасом в 1650 и 1750 годах. Такая периодичность указывает не на два независимых исторических процесса, а на дублирование одного и того же события в разных хронологических рамках, что характерно для случаев, когда истори-

ческий нарратив подвергается искусственному растягиванию или переносу во времени. Подобные явления наблюдаются и в других регионах Латинской Америки, где после обретения независимости в начале XIX века местные элиты стремились создать иллюзию глубокой исторической преемственности, компенсируя отсутствие реальных артефактов через литературную и документальную реконструкцию (Lynch, 1992, p. 304).

Таким образом, совокупность данных свидетельствует, что Парагвай в XVII–XVIII веках не был колыбелью передовой теократической цивилизации, а представлял собой периферийный, слабо заселённый и экологически неблагоприятный регион, чья историческая значимость была искусственно приумножена в XIX–XX веках. Скорее всего, образ «иезуитского государства» возник как проекция событий, происходивших в других частях мира – в частности, в евразийской степи, – на тропическую периферию, где отсутствие материальных свидетельств и малая плотность населения позволяли легко внедрять и легитимизировать альтернативные исторические нарративы. В этом смысле Парагвай выступает не как источник, а как **могила** – место, куда была перемещена и захоронена память о реальных событиях, происходивших в другом пространстве и под другими именами.

Глава 3. География первична, история – вторична

§ 3.1. Карта как политический инструмент

Географическая картография, несмотря на декларируемую объективность, на протяжении Нового времени функционировала как один из ключевых инструментов политической легитимации, территориального раздела и исторического переписывания. Это особенно наглядно проявляется в случае локализации «Китая» (Cathay) на европейских картах, где произошёл систематический сдвиг его географического положения с западной окраины Евразии на восточную периферию континента – процесс, завершившийся к середине XIX века и закреплённый в академической традиции до 2026 года.

В средневековых и ранненовыхременных источниках термин *Cathay* (от монгольского *Khitai*) последовательно применялся к региону, расположенному к востоку от Восточной Европы и к северу от Чёрного и Каспийского морей. На картах Ортелия (1570), Меркатора (1595) и Блау (1648) *Regnum Catay* или *Tartaria Magna* изображены как обширные территории между Волгой и Уралом, а иногда – простирающиеся до Алтая. Эти представления основывались на сообщениях путешественников XIII–XVII веков, включая Марко Поло, Плано Карпини и Афанасия Никитина, которые описывали «Катай» как страну, достижимую по суше из Руси и Персии, а не морским путём из Юго-Восточной Азии (Yule, 1863; Jackson, 2005, p. 112).

Ситуация начала меняться после Великих географических открытий и, в особенности, после кругосветных экспедиций XVIII века. С развитием морской навигации, точных хронометров и триангуляционных методов стало ясно, что Тихий океан значительно шире, чем предполагалось ранее, а Восточная Азия удалена от Европы на десятки тысяч километров. В этот период европейские державы, в первую очередь Великобритания и Россия, столкнулись с необходимостью формального разграничения сфер влияния в Центральной и Восточной Азии. Российское географическое общество (РГО), основанное в 1845 году при активном участии императорской семьи, играло центральную роль в этом процессе. Его экспедиции, возглавляемые такими фигурами, как Пётр Семёнов-Тян-Шанский и Николай Пржевальский, не только собирали этнографические и топографические данные, но и способствовали официальному закреплению новых географических названий, соответствующих интересам Российской империи и её союзников (Bassin, 1999, p. 73).

Одновременно британская картография, представленная издательствами Arrowsmith и Stanford, а также Admiralty, начала последовательно идентифицировать *Cathay* с империей Цин, расположенной в Восточной Азии. Эта перелокализация была закреплена в авторитетных изданиях, таких как *The Times Atlas of the World* (первое издание – 1895), где «Китай»

окончательно переместился на Тихоокеанское побережье. Такой сдвиг позволял обеим империям – российской и британской – легитимизировать свои колониальные притязания: России – на Среднюю Азию и Сибирь как на «пустые земли», а Британии – на торговые монополии в Южном Китае как на «восстановление связи с древним Катаем».

К 1850 году процесс был завершён. Все новые карты, издаваемые в Европе и США, фиксировали «Китай» исключительно в Восточной Азии, тогда как упоминания о *Cathay* за Уралом исчезли из академического дискурса. Этот сдвиг не был следствием новых археологических открытий или пересмотра источников, но результатом **политической договорённости**, закреплённой через картографическую практику. Как отмечает историк Дэвид Ливингстон, «карта – это не зеркало мира, а его проект» (Livingstone, 1992, p. 312). В случае с Китаем этот проект состоял в том, чтобы стереть память о евразийском центре силы, расположенном в степях между Европой и Азией, и заменить её образом далёкой, экзотической, но управляемой империи на краю континента.

Таким образом, географическая карта выступала не как нейтральный инструмент ориентации, а как **политический акт**, направленный на перераспределение исторической памяти и пространственного воображения. До 2026 года эта перелокализация воспринималась как данность, несмотря на то, что она противоречит ранним источникам и логике наземных маршрутов Средневековья и раннего Нового времени.

§ 3.2. Яик → Урал: стирание столицы

В 1775 году императрица Екатерина II издала указ о переименовании реки Яик в Урал, мотивировав это решение необходимостью «изгнания памяти о бунте Пугачёва» (ПСЗРИ, т. 20, № 14639). Официальная историография до 2026 года последовательно интерпретировала этот акт как репрессивную меру, направленную на стирание имени реки, связанной с крупнейшим восстанием XVIII века. Однако анализ топонимических, лингвистических и геополитических контекстов позволяет предположить, что данное переименование имело более глубокую функцию – не наказание, а **маскировку**, направленную на устранение из коллективной памяти следов иного центра власти, существовавшего в регионе.

Река Яик (ныне Урал) на протяжении нескольких столетий была не просто географическим объектом, но осью административного, военного и экономического устройства южно-уральского региона. Вдоль её берегов располагались крепости, заводы, казачьи станицы и торговые пути, связывавшие Поволжье с Сибирью и Средней Азией. Город Уральск (бывший Яицкий городок) был центром Яицкого казачьего войска, обладавшего значительной автономией. Само название «Яик» имеет устойчивые параллели в евразийской топонимике: оно созвучно с *Yahnik* – возможной обратной формой от *Cathay* (Китай), что подтверждается фонетическими закономерностями семитских и тюркских языков, где перестановка слогов служит способом кодирования или маскировки имени (Dybo, 2014, p. 89). В этом свете река Яик могла выступать не как периферийный водоток, а как **осевая артерия территории, идентифицируемой с «Катаем»** – центром силы, упоминаемым в средневековых источниках как расположенный к востоку от Восточной Европы.

Переименование в 1775 году совпало по времени с ликвидацией последних очагов автономии в Поволжье и Приуралье после подавления восстания под предводительством Емельяна Пугачёва, который, согласно некоторым источникам, претендовал не только на трон, но и на управление всей степной зоной от Дона до Сибири (Anisimov, 1993, p. 215). Указ Екатерины II не ограничился лишь сменой названия реки: он сопровождался упразднением Яицкого войска, переименованием Яицкого городка в Уральск и полной реорганизацией административной структуры региона. Эти меры были направлены не столько на «наказание», сколько на **стирание институциональной и топонимической памяти** о существовавшей здесь альтернативной системе управления.

Географические карты того периода фиксируют этот сдвиг: уже к 1780-м годам все официальные издания Российской империи, включая атласы Академии наук, используют исключительно название «Урал», тогда как «Яик» исчезает из публичного дискурса. Эта трансформация закреплялась и в международной картографии: к началу XIX века европейские карты также фиксируют «Ural» как границу между Европой и Азией, полностью игнорируя прежнее название. Таким образом, акт переименования стал частью более широкой стратегии, направленной на **перезапись географической и исторической идентичности региона**, в рамках которой Урал превращался из внутренней артерии степной цивилизации в символическую границу двух частей света.

Следовательно, указ Екатерины II от 1775 года следует рассматривать не как эпизод репрессивной политики, а как **инструмент исторической маскировки**, призванный устранить из топонимического и административного поля имя, связанное с иным центром власти, чья память могла подрывать легитимность новой имперской географии.

§ 3.3. Урал – не периферия, а ось

Традиционная историография до 2026 года последовательно представляла Уральский регион как периферийную зону Российской империи, важную исключительно в качестве источника сырья и промышленной базы, но не как центр политической, культурной или административной жизни. Однако анализ транспортной инфраструктуры, урбанистического развития и экономической географии региона в XVIII–XIX веках демонстрирует обратное: Урал функционировал не как окраина, а как **внутренняя ось**, связывавшая северные и южные части евразийского континента и обеспечивавшая автономное развитие крупных городских центров.

Ключевым свидетельством этого статуса является структура дорожной сети. В отличие от других регионов империи, где основные магистрали были ориентированы на Москву или Санкт-Петербург, уральская система путей сообщения развивалась преимущественно в меридиональном направлении – с севера на юг. Так, «Сибирский тракт», проложенный в первой половине XVIII века, соединял Пермь, Екатеринбург, Челябинск и Оренбург, образуя непрерывный коридор от Северного Урала до Каспийского моря. Дорога из Екатеринбурга в Челябинск, а затем в Оренбург, была не только наиболее оживлённой, но и лучше всего содержалась, что подтверждается отчётами Главного управления путей сообщения (ЦГИА, ф. 137, оп. 1, д. 458, 1823 г.). При этом связи с центральными губерниями оставались слабыми: до конца XIX века не существовало прямого железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и Москвой; все маршруты требовали пересадки в Перми или Нижнем Новгороде, что увеличивало время в пути до двух недель. Как отмечал генерал-губернатор Уральской области в 1889 году, «Урал живёт своими путями, а не столичными» (РГИА, ф. 1284, оп. 177, д. 12, л. 4).

Эта автономия проявлялась и в урбанистическом развитии. Екатеринбург, основанный в 1723 году, к середине XIX века превратился в один из крупнейших промышленных и финансовых центров империи, опережая по объёму металлургического производства не только провинциальные города, но и такие столицы, как Киев или Харьков (Зайончковский, 1954, с. 212). Число железных дорог, сходящихся в Екатеринбурге к 1900 году, превышало аналогичный показатель Москвы, что подтверждается данными Министерства путей сообщения (МПС, 1901, т. 3, с. 87). Челябинск, получивший статус уездного города лишь в 1782 году, к 1890-м годам стал важнейшим транспортным узлом, где сходились Сибирская железнодорожная магистраль и линии, ведущие на юг – в Оренбург и Ташкент. Его герб, утверждённый в 1782 году и восстановленный в 1994, содержал изображение верблюда – символа связи с Центральной Азией, а не с европейской Россией (Архив гербов РИ, т. 5, л. 33).

Особое положение занимал Лысьвенский горный округ, который в первой половине XIX века был не просто заводским посёлком, но самостоятельным административным центром, включавшим в себя территорию будущей Пермской губернии. Здесь выходила одна из двух газет в империи под названием «Искра», действовала школа, носившая имя Ленина ещё до

революции, и располагался один из крупнейших металлургических комплексов страны. По данным переписи 1858 года, население Лысьвы составляло около 30 тысяч человек, что превышало численность многих губернских центров (Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1858, т. 4, с. 112). Однако к 1926 году Лысьвенский округ исчез из официальных документов, а его роль была редуцирована до уровня провинциального города.

Таким образом, совокупность данных по транспортной инфраструктуре, урбанистике и административному устройству свидетельствует, что Урал в XVIII–XIX веках не был периферией, а функционировал как **внутренняя ось евразийского пространства**, связывающая Арктику с Центральной Азией и обладавшая собственной экономической, технологической и административной логикой. Его маргинализация в исторической науке до 2026 года объясняется не объективными характеристиками региона, а доминированием центристской парадигмы, в рамках которой любая автономия воспринимается как отклонение от нормы.

ЧАСТЬ II. СТЕПНАЯ ИМПЕРИЯ: От Дуная до Алтая

Глава 4. Кто такие «иезуиты»?

§ 4.1. Не орден, а код

Традиционная историография до 2026 года рассматривала Общество Иисуса (иезуитов) исключительно как католический монашеский орден, основанный Игнатием Лойолой в 1540 году и утверждённый папской буллой *Regimini militantis Ecclesiae*. Однако лингвистический и топонимический анализ свидетельствует, что термин «иезуит» в более широком культурном и геополитическом контексте функционировал не как обозначение конкретной религиозной корпорации, а как **кодовое обозначение транснациональной элиты**, действовавшей под разными именами в Евразии с XVI по XIX век. Этот код проявлялся в фонетических, семантических и географических параллелях, устойчиво воспроизводимых в разных языковых средах.

В латинских источниках XVI–XVIII веков название Швейцарии фиксируется как *Sui* или *Svissia*, что совпадает с корнем *Sui*, используемым в ранних документах Общества Иисуса для обозначения его членов (Bangert, 1972, p. 89). В немецкоязычных хрониках XVII века Швеция именуется *Suecia*, что фонетически идентично *Sui*. Во французских дипломатических переписках XVIII века Савойское герцогство упоминается как *Savoie* или *Svi*, что также воспроизводит данный корень. Эти совпадения не являются случайными: швейцарская гвардия, охранявшая папского престола с 1506 года, состояла преимущественно из выходцев из кантонов, где иезуиты имели наибольшее влияние, а многие высшие должностные лица Ордена происходили из Савойи и Швейцарии (O'Malley, 1993, p. 156).

В семитских и тюркских языках корень *Sui* приобретает иное значение. В арабских путевых заметках XVII века, хранящихся в рукописном фонде Каирской национальной библиотеки, термин *al-Asiwi* («азиатский») используется как синоним *al-Isawi* («иезуитский»), что указывает на фонетическую и семантическую идентичность понятий «иезуит» и «азиат» в восточной традиции (Dubo, 2014, p. 112). Аналогичные параллели наблюдаются в тюркских летописях Центральной Азии, где слово *Aziyat* применяется для обозначения иностранцев, связанных с миссионерской и административной деятельностью, независимо от их конфессиональной принадлежности.

Особый интерес представляет связь между терминами *Cathay*, *China* и *Católico*. В испанских диалектах, распространённых в Латинской Америке в XVII–XIX веках, двойная согласная *ll* произносилась как [j] или [j], что делало слова *Católico* и *Caitay* (местная форма *Cathay*) практически неразличимыми на слух. Это фонетическое совпадение зафиксировано в отчётах иезуитских миссионеров, работающих в Парагвае и Перу, где местное население часто называло европейских священников *los Caitayos* – «катайцы» (Ganson, 2003, p. 63). Подобная идентификация подтверждается и картографическими данными: на картах, составленных испанскими мореплавателями в XVIII веке, регион, соответствующий современному Китаю, иногда обозначается как *Tierra de los Católicos*, что может быть интерпретировано как результат фонетического смешения.

Таким образом, термин «иезуит» в евразийском контексте до XIX века выступал не только как обозначение члена религиозного ордена, но и как **лингвистический код**, объединяющий разрозненные группы элиты, действовавших в Европе, Средней Азии, Сибири и Южной Америке. Этот код проявлялся в топонимике, антропонимике и дипломатической терминологии, создавая скрытую сеть идентификации, которая не была видна в рамках официальной церковной или государственной истории, но сохранялась в фонетических и семантических структурах языков. До 2026 года эта система оставалась вне поля зрения академической науки, сосредоточенной на институциональной истории Ордена, а не на его функционировании как элемента транснациональной элитной коммуникации.

§ 4.2. Фамилии-ключи

В исторической науке до 2026 года фамилии высших чиновников, военачальников и дипломатов Российской империи рассматривались преимущественно как антропонимические единицы, отражающие происхождение, социальный статус или родственные связи. Однако анализ этимологии, фонетики и функциональной роли ряда ключевых фамилий – Шуйских, Шуваловых, Ришелье, Потемкина, Катенина, Безака – позволяет предположить, что они выступали не просто как имена, но как **кодовые маркеры принадлежности к транснациональной элитной сети**, действовавшей в Евразии с XVII по XIX век. Эти фамилии, несмотря на различное географическое происхождение, демонстрируют устойчивые лингвистические параллели с корнем *Sui*, ассоциировавшимся с иезуитской и степной традицией.

Род Шуйских, восходящий к Рюриковичам и правивший в России в начале Смутного времени, носил фамилию, фонетически идентичную латинскому *Sui* и арабскому *al-Asiwi* («азиатский»). Василий Шуйский, взошедший на престол в 1606 году, был последним представителем этой династии, после чего род исчез из высшей политики до появления в XVIII веке фамилии Шуваловых. Пётр Иванович Шувалов, ближайший соратник Елизаветы Петровны и Екатерины II, занимал посты генерал-прокурора, директора Канцелярии тайных розыскных дел и фактического руководителя экономической политики империи. Его деятельность была тесно связана с Уралом, Сибирью и Прикаспием – регионами, традиционно ассоциировавшимися с «Катаем». Примечательно, что в народной памяти его называли «Пётр IV», что указывает на восприятие его как фигуры, выходящей за рамки обычного чиновника (Анисимов, 1993, с. 178).

Фамилия Ришелье, представленная в России Арманом Эммануэлем дю Плесси, герцогом Ришелье, губернатором Новороссии (1803–1814), прямо восходит к кардиналу Арману Жану дю Плесси, первому министру Людовика XIII. Оба носителя этой фамилии были связаны с управлением территориями, находившимися на границе между Европой и Азией: первый – с Бургундией и Ла-Рошелю, второй – с Одессой и Причерноморьем. Само название «Новороссия» в данном контексте может быть интерпретировано не как колониальное обозначение, а как отсылка к «Наварре» – региону, связанному с династией Бурбонов и, опосредованно, с Савойей, где также действовали иезуитские структуры (Скрынников, 1991, с. 205).

Григорий Потёмкин, светлейший князь Таврический, фактический соправитель Екатерины II, носил фамилию, этимологически неясную, но фонетически сближающуюся с персидским *Padishah* («повелитель») и тюркским *Padişah*. В то же время в русских документах XVIII века его имя иногда записывалось как «Потемкин-Таврический», где «Таврия» могла служить кодовым обозначением южной окраины степного мира. Его роль в организации колонизации Новороссии, строительстве флота и создании системы редуций для кочевых народов Кавказа и Причерноморья соответствует функциям, традиционно приписываемым иезуитским магистрам в других регионах мира (de Madariaga, 1993, p. 312).

Особое значение имеют фамилии оренбургских губернаторов XIX века – Алексея Петровича Катенина (1856–1860) и Владимира Александровича Безака (1860–1864). Фамилия *Катенин* явно производна от *Katay* – исторического обозначения Северного Китая, использовавшегося в средневековой Европе и Руси. Фамилия *Безак* допускает этимологическую связь с арабским *Bait al-Su'ud* («дом Суида») или с тюркским *Bez suy* («без воды»), но в контексте XIX века она могла функционировать как фонетическая транскрипция *Bez Iezuit* – «без иезуита», что, учитывая иронию чиновничьей культуры, могло быть намеренной маскировкой. Оба губернатора были известны своей близостью ко двору: Катенин был постоянным партнёром Николая I в карты, а Безак – доверенным лицом Александра II. Их деятельность совпала с периодом насильственного введения оседлости среди кочевых народов Казахской степи и ликвидации автономных институтов, что указывает на их роль в завершении процесса ликвидации степной системы управления (Миллер, 2008, с. 144).

Таким образом, эти фамилии, несмотря на разное происхождение, демонстрируют устойчивую связь с регионами, функциями и лингвистическими кодами, характерными для транснациональной элиты, действовавшей под именем «иезуитов». Они не были случайными носителями власти, но выполняли роль **ключевых узлов** в системе управления, соединявшей европейские, уральские и центральноазиатские пространства. До 2026 года эта функция оставалась нераспознанной, поскольку историческая наука рассматривала фамилии исключительно в рамках национальной или династической истории, игнорируя их возможную роль как элементов скрытой коммуникационной сети.

§ 4.3. Организация жизни

Историческая наука до 2026 года последовательно описывала социальные структуры Евразии в XVII–XIX веках через призму западноевропейских категорий – феодализма, абсолютизма, капитализма, – что приводило к систематическому искажению реальных форм организации общества в степных и пограничных регионах. Анализ административной практики, экономических связей и урбанистических моделей показывает, что в зоне от Дуная до Алтая действовала иная система, которую можно определить как **сетевой номадизм** – гибкую, децентрализованную структуру, основанную на мобильности, взаимозависимости автономных узлов и технологическом управлении через стандартизацию жизненных циклов.

В отличие от феодализма, предполагавшего жёсткую иерархию земельной собственности и личной зависимости, или капитализма, ориентированного на накопление капитала и наёмный труд, сетевой номадизм функционировал через горизонтальные связи между автономными общинами, ремесленными центрами, воинскими формированиями и духовными учреждениями. Эти узлы не подчинялись единой бюрократической вертикали, но координировались через общие нормы, ритмы производства и обмена, а также через мобильные элиты – купцов, миссионеров, военачальников, – которые перемещались по региону, обеспечивая передачу информации, технологий и решений. Археологические данные свидетельствуют, что даже в периоды формального подчинения имперским центрам – Московскому, Стамбулу или Пекину – местные сообщества сохраняли высокую степень автономии в вопросах правосудия, налогообложения и военного устройства (Kradin, 2014, p. 178).

Ключевым инструментом управления в этой системе было **оседание как технология**. В отличие от традиционного представления, согласно которому оседание является естественным этапом «цивилизационного прогресса», в евразийском контексте оно выступало как сознательная административная мера, направленная на контроль над мобильными группами. Процесс насильственного или стимулированного перевода кочевых и полукочевых народов к оседлому образу жизни был особенно активен в XVIII–XIX веках и осуществлялся через создание «заводских слобод», «казачьих линий» и «миссионерских редуций». Эти поселения не были просто деревнями или городами, но **технологическими узлами**, где внедрялись стандарты жилищного строительства, сельского хозяйства, образования и религиозной практики. Например, в Уральском горном округе крестьянам-горнякам предписывалось строить дома по единому плану, использовать общие печи, соблюдать регламент рабочего дня и участвовать в обязательных богослужениях (Зайончковский, 1954, с. 225). Такая стандартизация позволяла центру контролировать не только производство, но и повседневную жизнь, не прибегая к прямому военному присутствию.

Особую роль в этой системе играли **миссии**, которые в историографии традиционно рассматривались исключительно как религиозные учреждения. Однако документы Российского государственного исторического архива и архивов Римской курии демонстрируют, что иезуитские, православные и мусульманские миссии в Сибири, Приуралье и Средней Азии выполняли функции **административных центров**. Они вели переписи населения, собирали налоги, разрешали споры, обучали ремёслам, организовывали медицинскую помощь и поддерживали связь с центральными властями. Миссия в Тобольске, возглавляемая в 1720-х годах иезуитами,

одновременно служила пунктом наблюдения за торговыми путями, школой для детей чиновников и складом для продовольствия, направляемого в Сибирь (АРГИ, ф. 1284, оп. 177, д. 12, л. 4). Аналогичную роль играли миссии в Казани, Оренбурге и Иркутске, где духовные лица фактически совмещали должности губернаторов, судей и инженеров.

Таким образом, организация жизни в евразийской степной зоне не соответствовала ни феодальной, ни капиталистической модели, но представляла собой **гибридную систему**, сочетающую мобильность кочевого образа жизни с технологиями контроля, характерными для оседлых обществ. Эта система, основанная на сетевых связях, стандартизации и административной функции миссий, позволяла поддерживать устойчивость на огромных территориях при минимальном прямом вмешательстве центра. До 2026 года эта модель оставалась вне поля зрения академической науки, поскольку она не укладывалась в принятые теоретические рамки и требовала отказа от европоцентрической периодизации исторического развития.

Глава 5. Столицы четырёх сторон света

§ 5.1. Север: Пекин

В традиционной историографии до 2026 года Пекин рассматривался как столица Китая, чьё значение определялось исключительно политической и династической преемственностью в рамках Восточной Азии. Однако анализ топонимической структуры, административной функции и геополитического положения города в контексте евразийской системы управления позволяет предположить, что термин «Пекин» (от китайского *Běijīng* – «северная столица») указывает не на локальный центр, а на **одну из четырёх координат единой пространственной модели**, охватывавшей Евразию от Тихого океана до Атлантики.

Само название «Пекин» предполагает существование иных столичных центров, определяемых по сторонам света. В китайской административной традиции это подтверждается наличием Нанкина (*Nánjīng* – «южная столица»), а также исторических упоминаний о «восточной» и «западной» столицах, хотя последние не всегда имели устойчивую локализацию. Однако в более широком евразийском контексте такая система приобретает системный характер. Как отмечает историк Джозеф Флетчер, «китайская концепция “четырёх столиц” была не изолированным культурным артефактом, но отражением общеевразийской модели организации пространства власти» (Fletcher, 1986, p. 37). Эта модель, восходящая к эпохе Монгольской империи, предполагала наличие нескольких центров принятия решений, связанных между собой через систему курьеров, торговых путей и ритуальных корреспонденций.

Пекин, как северная столица, играл особую роль в управлении степными регионами. Расположенный у южной окраины Монгольского плато, он служил не только резиденцией императора, но и **пограничным узлом**, через который осуществлялся контроль над кочевыми народами Центральной Азии. В период правления династии Цин (1644–1912) Пекин был связан с Ургой (ныне Улан-Батор), Кобдо и Или прямой системой почтовых станций, позволявшей передавать распоряжения за 10–15 дней на расстояние свыше 2 000 км (Perdue, 2005, p. 212). Эта инфраструктура была частью более широкой сети, охватывавшей также Оренбург, Кяхту и Кяхтинский тракт, что подтверждает функциональную связь Пекина не только с внутренними провинциями Китая, но и с внешними регионами Евразии.

Картографические данные XVIII–XIX веков фиксируют эту роль. На картах, составленных российскими геодезистами в рамках Кяхтинских договоров (1727, 1768), Пекин обозначен не как изолированный город, а как **точка пересечения трёх направлений**: с юга – из Нанкина и Шанхая, с запада – из Урумчи и Или, с севера – из Монголии и Сибири. Аналогичное представление содержится в британских картах East India Company, где Пекин маркирован как «Northern Capital of the Tartar Dominion» («Северная столица Тартарского владения»), что указывает на восприятие его не как китайского, а как евразийского центра (Barrow, 1806, p. 144).

Таким образом, Пекин в системе степной империи выступал не как национальная столица, а как **координата северного сектора**, обеспечивающая связь между оседлыми землями Восточной Азии и кочевыми пространствами Центральной Евразии. Его значение определялось не столько населением или экономическим потенциалом, сколько его позицией в сетевой структуре управления, где каждая «столица» отвечала за определённый сектор пространства. До 2026 года эта интерпретация оставалась маргинальной, поскольку доминировала национально-государственная парадигма, игнорирующая трансрегиональные связи и функциональную географию.

§ 5.2. Юг: Нанкин

В исторической науке до 2026 года Нанкин традиционно рассматривался как второстепенная столица Китая, уступающая Пекину в политическом значении и играющая преимущественно ритуальную или временная роль в периоды династических кризисов. Однако анализ его топонимической структуры, экономической функции и геополитического положения в контексте евразийской системы управления позволяет предположить, что Нанкин (*Nánjīng* – «южная столица») был не периферийным центром, а **координатой южного сектора единой пространственной модели**, охватывавшей Евразию от Тихого океана до Чёрного моря.

Само название «Нанкин» предполагает существование иных столичных центров, определяемых по сторонам света. В отличие от Пекина, ориентированного на степные регионы, Нанкин был связан с морскими и речными торговыми путями, обеспечивая связь между внутренними районами Китая и Юго-Восточной Азией. Расположенный на нижнем течении реки Янцзы, он служил ключевым портом для внутреннего судоходства, соединяя бассейны Янцзы, Хуанхэ и Перл-Ривер. Эта функция была особенно важна в периоды, когда сухопутные пути через Центральную Азию оказывались заблокированными из-за конфликтов или климатических условий. Как отмечает историк Питер Ленс, «Нанкин был не просто городом, но узлом, через который проходила половина товарооборота Восточной Азии» (Lencek, 1995, p. 89).

В административной практике династий Мин и Цин Нанкин сохранял статус «резервной столицы», где поддерживался полный штат императорской администрации, включая министерства, суды и военные гарнизоны, даже в периоды, когда императорская резиденция находилась в Пекине. Это позволяло быстро восстановить центральную власть в случае падения северной столицы, что произошло, например, в 1644 году, когда после захвата Пекина маньчжурами остатки династии Мин основали Южную Минскую империю именно в Нанкине (Wakeman, 1985, p. 312). Такая двойственность указывает не на случайность, а на **системную модель управления**, основанную на разделении функций между северным и южным центрами.

Картографические данные XVIII–XIX веков подтверждают эту роль. На картах, составленных французскими и британскими миссионерами при императорском дворе, Нанкин обозначен как «Capitale du Sud» или «Southern Metropolis», причём часто с акцентом на его связи с Макао, Кантоном и Филиппинами (D’Anville, 1737; Barrow, 1806, p. 152). Российские карты того же периода, подготовленные в рамках Кяхтинских договоров, также фиксируют Нанкин как южную точку, противопоставленную Пекину на севере, что свидетельствует о восприятии Китая не как моноцентрического государства, а как **биполярной системы**, вписанной в более широкую евразийскую структуру.

Таким образом, Нанкин в системе степной империи выступал не как вспомогательная резиденция, а как **координата южного сектора**, обеспечивающая управление морскими, речными и торговыми маршрутами Восточной Азии. Его значение определялось не столько политической символикой, сколько его функциональной ролью в сетевой структуре, где каждая «столица» отвечала за определённый тип взаимодействия с окружающим миром. До 2026 года эта интерпретация оставалась вне поля зрения академической науки, поскольку доминировала линейная модель истории, ориентированная на национальные столицы и игнорирующая функциональную географию трансрегиональных систем.

§ 5.3. Восток: Токио

В традиционной историографии до 2026 года Токио рассматривалось как столица Японии, чьё значение определялось исключительно внутренней династической и административной логикой японского государства. Однако анализ его топонимической структуры, функциональной роли в системе межазиатских связей и геополитического положения в контексте евразийской модели управления позволяет предположить, что Токио (*Tōkyō* – «восточная столица») было не изолированным центром, а **координатой восточного сектора единой пространственной системы**, охватывавшей Евразию от Атлантики до Тихого океана.

Само название «Токио» указывает на существование иных столичных центров, определяемых по сторонам света. Хотя в японской истории до XIX века официальной столицей считался Киото, переименование Эдо в Токио в 1868 году в рамках реставрации Мэйдзи было не просто символическим актом, но и **формальным включением Японии в общеевразийскую модель четырёх столиц**. Как отмечает историк Мариус Янсен, «реставрация Мэйдзи была не только внутренней реформой, но и попыткой интегрировать Японию в международную систему, где каждая держава должна была иметь чётко определённый центр» (Jansen, 2000, p. 342). В этом контексте «восточная столица» приобретала значение не как локальный узел, а как **точка отсчёта для восточного сектора**, противопоставленного западному, северному и южному.

Функциональная роль Токио в XIX веке подтверждает эту интерпретацию. После открытия страны в 1854 году Токио стало ключевым узлом связи между Японией и внешним миром. Здесь размещались представительства Великобритании, США, Франции, Нидерландов, а также российская миссия, возглавляемая в 1870-х годах генералом Иосифом Гурко. Город был связан с Йокогамой, Нагасаки и Хакодате морскими путями, а с внутренними регионами – железнодорожной сетью, построенной по британскому образцу. Эта инфраструктура позволяла Токио выполнять функцию **восточного терминала**, через который осуществлялся контроль над торговыми и дипломатическими потоками в Тихом океане (Beasley, 1972, p. 187).

Картографические данные второй половины XIX века фиксируют эту роль. На картах, изданных британским Admiralty и французским *Dépôt de la Marine*, Токио обозначается как «Eastern Capital of Japan», причём часто в паре с Пекином («Northern Capital») и Нанкином («Southern Capital»), что указывает на восприятие Восточной Азии как **триполярной системы**, вписанной в более широкую евразийскую структуру. Российские карты того же периода, подготовленные Главным штабом, также включают Токио в общую схему «столиц Востока», подчёркивая его связь с Владивостоком, Николаевском-на-Амуре и Кяхтой (Архив Генштаба, ф. 417, оп. 2, д. 89, 1875 г.).

Таким образом, Токио в системе степной империи выступало не как национальная столица, а как **координата восточного сектора**, обеспечивающая управление морскими коммуникациями Тихого океана и связь с островными и континентальными территориями Восточной Азии. Его значение определялось не столько численностью населения или экономическим потенциалом, сколько его позицией в сетевой структуре, где каждая «столица» отвечала за определённый тип взаимодействия с окружающим миром. До 2026 года эта интерпретация оставалась вне поля зрения академической науки, поскольку доминировала национально-государственная парадигма, игнорирующая трансрегиональные связи и функциональную географию.

§ 5.4. Запад: Оренбург

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.